

Лолита Агамалова

Модерн, *language poetry* и дистилляция утопии

Lolita Agamalova

Modern, Language Poetry and Distillation of Utopia

Лолита Агамалова

МГУ имени Ломоносова, философский
факультет; аспирантка
pierreabaelardus@gmail.com.

Ключевые слова: утопия, утопизм, кризис
будущего, языковое письмо, Виттинг, Маркс,
Марен

УДК: 130.2

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_464

В работе исследуются кризис и радикальные трансформации понятия «утопия» на рубеже XX–XXI веков и выдвигается гипотеза о «дистилляции» утопии — процессе, исток которого обнаруживается у Ш. Фурье в качестве рефлексии, впервые запущенной в утопическое произведение, но достигает апогея в 1970-е годы в ответ на кризис марксистской телеологии, превращая понятие утопии в чистое или даже пустое. В ходе этого процесса формируется новый, «скрытый» утопический дискурс, понятый как поле смыслов, организованных вокруг проблематики возможного и его модальностей в семантике и логике: утопическое оказывается нередуцируемым, но рассеянным и политически бессильным. Анализируя способы функционирования имени и понятия «утопия» в разных интеллектуальных контекстах и обращаясь к примерам из постструктуралистской мысли и экспериментальной литературы, автор утверждает, что они свидетельствуют не об очередном «конце» (будущего), но об исчерпанности их эвристик в рамках некогда заданной исторической формы утопического дискурса.

Lolita Agamalova

Lomonosov Moscow State University, Faculty
of Philosophy; PhD student
pierreabaelardus@gmail.com.

Keywords: utopia, utopianism, the crisis of the
future, language writing, Wittig, Marx, Maren

UDC: 130.2

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_464

This paper examines the crisis and radical transformation of the concept of «utopia» at the turn of the 20th and 21st centuries, putting forward the hypothesis that utopia has been «distilled» — a process whose origins can be traced back to Charles Fourier's utopian work, which reached its apogee in the 1970s in response to the crisis of Marxist teleology. This transformed the concept of utopia into something pure, or even empty. In the course of this process, a new, hidden utopian discourse takes shape, understood as a field of meanings organised around the issue of the possible and its modalities in semantics and logic: the utopian proves to be irreducible, yet diffuse and politically powerless. By analysing the ways in which the term and concept of utopia function in various intellectual contexts, and drawing on examples from poststructuralist thought and experimental literature, the author argues that these do not point to yet another end (of the future), but rather to the exhaustion of their heuristics within the framework of the once-established historical form of utopian discourse.

Мой тезис таков: в 1970-е годы формируется особый утопический дискурс, в котором нет места собственно утопии, как та была понята ранее: утопия отчуждается от «утопического», вступающего в игру на правах реинтерпретированного понятия, замещающего сложную диалектическую историю утопии. Этот дискурс, структурированный вытеснением понятия утопии как метафизического и исторически скомпрометированного, ведет к навязчивым попыткам «возвратить» неопределенные утопии волюнтаристским жестом в качестве ответа на набивший оскомину разговор о «кризисе будущего». Здесь я предлагаю этот дискурс реконструировать. Процесс, который я предварительно назову

отчуждением утопии от утопического, запускается еще в ортодоксальном марксизме: тот ведет свою родословную от утопии, порождая тем самым ее первую историю как понятия и собственно марксистскую «науку» о будущем — которая вскоре также будет названа «утопией» — через конструирование утопии как своего иного¹. Тем не менее апофеоз «отчуждения» достигается к 1970-м годам, в общепринятом начале культурно-экономической микроэпохи, которая, судя по всему, наконец подходит к концу. Далее я буду говорить об «утопиях» этого периода как о *дистиллированных* — структурированных «чистым» (или пустым) понятием утопии.

Минуя эффекты модернизации понятия, чье место в самом конце, и обращаясь к истории ее буквы, можно обнаружить, что утопия берет свое начало в раннее Новое время. Э. Блох указывает на то, что утопия возникает как пространственное образование (Остров, Город — их просто нужно обнаружить, «открыть»). Но уже в работах просветителей Фурье, Сен-Симона и Оуэна пространственный компонент переводится во временной², и именно так утопия рождается в качестве проекта будущего. На этом этапе будущее в утопию впутывается необратимо, а вместе с тем встраивается дискурсивное расширение, заключающееся в ставке на изменение природы посредством науки, но главным образом — впервые возникает утопический режим мышления, основанный на рефлексивном характере обращения с утопией: став жанром, она почти сразу обнаруживается как нечто такое, что проглядывает в зазоре между описанием порядков разных утопий (Мор, Бэкон, Кампанелла) и рефлексией о способах их конструирования, условиях их возможности (Сен-Симон, Оуэн, преимущественно Фурье); рефлексией о том, какой будет жизнь в другом мире и как к этому миру подобраться во времени.

Следующая веха — марксизм с его отказом от утопии как «пустой абстракции», конструирующий историю утопии под именем утопического, или «наивного», социализма, который в том же самом жесте обозначает последнего как свой прямой и единственный этико-политический исток. Научный социализм как бы «изымает» из утопии впутанное в нее будущее, провозгласив необходимость науки о нем, ибо будущее есть наука о будущем, и здесь вновь существо зазора: если «Новая Атлантида» Бэкона — утопия о науке, «утопия» Маркса — это наука утопии, или, если угодно, ее *наукоучение*, наукоучение вообще как всегда-уже наука утопии. Эта «общая» наука утопии, однако, не порывает с жанром, и в первой половине XX века пишется немало утопий, неизменно левых. Суть этих утопий, от Богданова до Урсулы Ле Гуин, в нарушении законов природы, то есть, по сути, в том, что обронил в «Конце утопии» Маркузе. Согласно его мысли, *теперь* утопии в «строгом смысле» соответствует ситуация, «когда проект социальных изменений противоречит действительным законам природы»³, — тезис, к которому Маркузе приходит в тот момент, когда левые слабы, как никогда ранее в истории, — в 1970-м году. Это значит, что утопия оборачивается разве что в социальную фантастику и актуа-

-
- 1 В первую очередь см.: *Энгельс Ф.* Развитие социализма от утопии к науке. М.: Молодая гвардия, 1937.
 - 2 *Адорно Т.В., Блох Э.* Чего-то не хватает. О противоречиях утопического томления // Художественный журнал. 2012. № 85 (URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/12/article/164>).
 - 3 *Маркузе Г.* Конец утопии // Логос. 2004. № 6 (45). С. 18–23.

лизирует свое семантическое невозможное. Упадок веры связан в первую очередь с общим упадком рабочего движения: здесь и поражение французского мая 1968-го, и разочарование в СССР (на фоне подавления народных революций в странах Восточного блока), и набирающий обороты в США постфордизм, чьи производственные политики вскоре будут обозначены в качестве первых ласточек «позднего капитализма», соотносимого с «постмодерном» от раннего Лиотара до позднего Джеймисона⁴; не последнюю роль играет и критический дискурс, объявивший утопию понятием метафизики.

Так, утопия, в которую по иронии судьбы дискурсивно обращаются красные диктатуры, одновременно распатываясь к неразличимости с «антиутопией», относительно новой игрушкой, терпит свое, казалось бы, последнее поражение, но понятие — и, уже, означающее — не исчезает, поскольку человеческие надежды и грезы неустранимы. В широком смысле это и есть отправная точка утопического дискурса 1970-х годов, который я рассматриваю как имплицитное поле значений и смыслов, структурирующих теории и практики в соответствии с цепью определенных неотчуждаемых понятий. Отчуждается же от него сама утопия; иначе говоря, происходит процесс «дистилляции», убывания-выхолащивания: тот самый утопический режим, некогда появившийся в качестве вопроса об условиях возможности утопии у «наивных социалистов» эпохи Просвещения, доходит до пределов — туда, где не остается утопии (как чувственного образа будущего или в качестве цели), но только рефлексия о ней. Понятое как рассеянный, неопределенный предикат, «утопическое», таким образом, возникает как результат рефлексии над утопией, встроенной в саму утопию. Следом рефлексия об утопии вымещает, отчуждает утопию, порождая в итоге утопию как дискурсивный режим *утопического*. Понятие дистилляции указывает на две взаимосвязанные, но разнонаправленные топологии: топологику разряженного вещества, в сущности — эфира, в котором производятся различные утопические артефакты за счет квази-структуриации этим эфиром (как средой), но также — топологику чистого (или пустого) понятия утопии, встречаемого в обыденном (или «естественном») языке в качестве точки сборки всех — или практически всех — значений универсума в универсальном аргументе: «Это утопия».

Кроме описанных выше дискурсивных процессов (движение утопии к утопическому как к некой общей посттрансцендентальной схеме) в традиционной истории утопии выделяется т.н. эпистемологический поворот: переход от понятия утопии к утопическому мышлению/сознанию и другим аватарам утопии в гуманитарных науках (например, в социологии и культурологии), за исключением собственно философии (*sic!*), которая никак не производится в рамках *utopian studies*. При этом сам по себе этот поворот спровоцирован чистой, самовоспроизводящейся историей утопии, движением к *дистилляции* и конкретно здесь — выхолащиванием из-за переизбытка рефлексивности (о способах конструирования и т.д.), которая, в свою очередь, в рамках общей истории философии — иррационалистической ветви — синонимизируется с аффектами, поскольку имеет дело со страстью к трансгрессии, переходу к другому миру. Так, «эпистемологический поворот» в истории утопии оказывается не

4 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998; Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство института Гайдара, 2019.

чем иным, как промежуточной попыткой приручить рефлексия, затапливающую утопию как проект (справедливый мир как результат деятельности). Образцом такого эпистемологического приручения понятия служит работа К. Мангейма «Идеология и утопия», где понятие утопии отсылает напрямую к трансценденции, которая, в свою очередь, через утопию — как нередуцируемое представление о том, что *мир может быть другим*, — также приручается, но как раз ввиду этой функции трансцендентализации парадоксальным образом размещается в аффективном разуме⁵. Об этой динамике приручения свидетельствуют и традиционные словарные определения. В частности, в толковом словаре Ожегова и Шведовой утопизм описывается как «несбыточные мечтания, склонность, стремление к утопиям»⁶. Другую линию чертят Джулия и Дэвид Джери, определяя утопизм как «*учение* (курсив мой здесь и далее. — Л.А.) (теорию) об идеальной форме будущего общества», добавляя, что «такое мышление иногда критиковалось за создание политических целей или стратегий со слабой эмпирической и теоретической основой», и указывая на марксистскую критику⁷.

Для Мангейма, однако, «утопические» идеи всегда обладают потенциальным «преобразующим влиянием на исторически существующий социальный порядок»⁸. В этом смысле утопизм, согласно чете Джери, «иногда помогает реализовать по крайней мере некоторые аспекты идеальной модели общества, способствуя его развитию»⁹. Традиция, к которой они принадлежат, состоит в куда большей систематизации, но рассматривает утопизм не просто как эпистемологический феномен, но как феномен исключительно своего времени; черты, присущие утопическому мышлению, представлены как отжившие и нерелевантные сегодня — «утопизм», описываемый в современных словарях, представляется в качестве эффекта экстраполяции специфического периода (где производится попытка приручения, провоцирующего избыточную рефлексия над утопией и ее понятием) на всю историю утопии, кристаллизируя ее функции в одной-единственной функции некой эйдетической критики, критики в лучшем случае «сверху» — из мира (этических) идей, который, как известно, обладает совершенно иной природой.

Особняком здесь стоит Блох: он мыслил теорию познания утопии, но, вероятно, самое парадоксальное и показательное — изобретение онтологии утопии. Эпистемология, впрочем, является отправной и для него, возникая в работе бесперебойной машинки рефлексии, затапливающей утопию¹⁰. Блох — вероятно, единственный собственно философ собственно утопии (поэтому ему предательски было отказано М. Хоркхаймером в причастности к Франкфурт-

5 Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. С. 113–169.

6 Ожегов С., Шведова Н. Утопизм // Академик (URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/254702>). Среди синонимов агрегатор словарей (там же) приводит следующий ряд: «невозможность, невыполнимость, неосуществимость, несбыточность, утопичность, химеричность, химерность».

7 Джери Д., Джери Д. Утопизм // Академик (URL: https://explanatory_sociological.academic.ru/2179/%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%97%D0%9C).

8 Там же.

9 Там же.

10 Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1997.

ской школе во время Второй мировой: утопии всегда несвоевременны и несовременны); да и, строго говоря, нет и не может быть никакой философии утопии, поскольку последняя — эффект процесса, главной характеристикой которого является убывание утопии из утопического и в конечном счете *отчуждение утопии от утопического*. Это специфическое отчуждение следует понимать не как эффект раздробленности собственно утопии, но как отчужденную работу чистого и пустого понятия — в отрыве от разнородных вокабулярных линий, структурированных (и обезвреженных) понятием, что и создает его в качестве пустого.

О способах организации возможного

Предпосылки к образованию утопического дискурса в 1970–2000 годах складываются задолго до обнаружения утопического бессознательного за речью о возможном и невозможном. Процесс запускается при возникновении вещества утопического, то есть «утопизма» в марксизме, от которого сам марксизм отстраивается, тем самым только крепче впутываясь в историю утопии и необратимо преобразуя ее. Этот процесс я буду называть *дистилляцией утопии*, ее выхолащиванием: постепенной утратой твердого ядра — в порядке представления и/или телеологии — и заменой его на разряженное вещество и чистое — оно же пустое — понятие, которые представляют собой результат убывания утопии из утопического. Вопрос о метафизике «ядра» находится вне рамок настоящей работы, как и вопрос о справедливости фактов, собранных под облачным тэгом «тоски по будущему»¹¹.

Кроме конкретных идей, связанных с фантазийным преобразованием мира через воздействие на его «природно» данное¹², XX век производит множество новых форм: в игру вступает модернизм и его технологии, преобразующие литературу с помощью разного рода рефлексивных техник, обращенных на само письмо, чье внешнее угасает в рекурсивном удвоении предмета и метода. «Великие нарративы», впрочем, все еще действенны и значимы. Но несмотря на то что утопия вбирает в себя два основных нарратива (о спекулятивном знании и об освобождении), пусть и не всегда под собственным именем, и воспроизводит себя уже в качестве строго возможной идеи о справедливом будущем, общее ее движение к новым областям ускоряется; вскоре они будут обращены в бесполезные «утопические режимы», закливаемые Ф. Джеймисоном за увязание в болоте опустошенных грез, но об этом еще никто не подозревает. В эссе «Модернизм как идеология», ранней понятийно-ревизионистской работе, Джеймисон, как кажется, описывает модернистские технологии в искусстве и литературе как изоморфные новым технологиям в производстве; но вдруг обращается к понятию утопии, все еще утопии-с-большой-буквы, но утопии как, скорее, своего рода плана трансценденции. Показывая процесс абсолютизации языка как инструмента, но — в своем лучшем, по крайней мере, виде — инструмента прозрачного, которым, согласно Джеймисону, некогда пользова-

11 Фишер М. Капиталистический реализм. Альтернативы нет? М.: Ультракультура 2.0, 2010.

12 Подробнее: Агамалова Л. От науки к утопии: Маркузе и критический утопианизм // Социология власти. 2024. Т. 36. № 4. С. 64–102.

лись для передачи простых значений, фундированных теологическим зазеркальем мнимой корреспонденции, он размечает некую «зону»:

...в этот первый период мы не только наблюдаем обособление машины от инструмента, чем, собственно, и гарантируется автономия технологического; аналогичные процессы обнаруживаются в работе самого языка и в репрезентации — и эти тенденции определенно имеют <...> отношение к теории художественного модернизма. <...> в ходе этого процесса [абсолютизации языка. — Л.А.] оформлялась *пустая зона* языка как Утопии, как чего-то неосязаемого, но в то же время зримого и умопостигаемого, подобного неевклидовой геометрии. Именно в этом пространстве работают специалисты по новому языку; именно в нем они, модифицируя исходные евклидовы постулаты и аксиомы различных форм повседневной речи, намечают и развивают невидимые контуры всей новой языковой структуры, неведомой ранее ни земле ни небесам¹³.

«Пустая зона языка как Утопии»: в какой момент эта фигура обнаруживает себя как возможную — несущую, иначе говоря, по крайней мере какой-то коммуницируемый смысл? и можно ли свести ее к тому общему движению *τέχνη* и техник, описываемому Джеймисоном?

На этот вопрос отчасти отвечает Л. Марен, поражая виртуозной точностью в описании: в своей работе об утопиях он рассматривает утопию как не-место не-речи, как зазор, трещину, делающую возможной всякое возможное представление (возможного)¹⁴. Фактически он утверждает, что утопия существует как место в языке, в дискурсе; это не фикция, но способ организации возможного. Парадоксально осциллируя между рубежом и горизонтом, своей топологией утопия Марена повторяет трансцендентальный кантовский план, за которым нет и не может быть никакого созерцания, — но не в качестве идеи, а скорее как антикатегория, не соотносимая с бесперебойной работой нейтрального трансцендентального воображения, но фундирующая специфическое трансцендентальное воображаемое, где утопия выступает означающим, исторически «застывшим» в «теле» человеческих способов познания. Это перформирует сам текст, его ткань — изящное и предельное самоописание события нового утопического дискурса: не фикция, а [не] место, но *не* место, куда утопия — это не-место. Дискурс, выписывающий это не-место как пустое место реорганизации, через которое, однако, говорит *возможное*, не способное быть рассказанным (нарративизированным) и даже попросту высказанным в самой сбивчивой речи, в рамках самоописания события обнаруживается как само не-место речи, место безъязыкости, неустранимое невидимое звено, или — в то же самое (парадоксальное) время — разрыв; и утопия буквально становится именем подобного (не) места. Утопия становится чем-то таким в языке, чью функцию — в языке же — берет на себя лакановское Реальное: нечто может указывать на него и указывать как на Реальное, но репрезентативным будет только само отношение; так указывает на себя и утопия, обнажая простой факт, что нечто артикулируется, но это нечто — утопическое — не находит себе места в языке.

Мысль Марена имеет, конечно, особое значение в истории понятия утопии и, уже, конкретно понятия 1970-х. Во-первых, это удивительный перформа-

13 Джеймисон Ф. Модернизм как идеология // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (98) (URL: <https://nlobooks.ru/article/11460/>).

14 Marin L. *Utopiques: jeux d'espaces*. Paris: Éditions de Minuit, 1973.

тивный образец логики, внутри которой имя утопии начинает употребляться так, что предельно расширяет свое семантическое ядро, в то же самое время обращая утопию к чистому семантическому истоку (просто: *ou-* топос, отрицание, и просто: *eu-*, как благо, -топос, — омофония, утраченная при транслитерации на латынь). Во-вторых, реализация той альтернативной линии чтения утопии (и «Утопии»), избегающей метафизики утопии — постулируемой, например, Деррида¹⁵ — через абсолютную, полную, парадоксальную детерриторизацию. Несмотря на модернизирующий постструктуралистские теории упрек в «идеализме», который оба могли бы разделить, Деррида и Марен радикально расходятся: если Деррида читает утопию как часть метафизики Маркса (поскольку тот верит в «будущее» как категорию «простого» времени, верит в нечто, таким образом, такое, что имеет тенденцию к самоидентификации, а потому сулит счастье), то Марен реорганизует ее как чистую схему, как «способ организации возможного», идеальный образец позднейших преобразований утопического мышления/сознания в новый, имплицитный утопический дискурс. Эта последняя предикация является определяющей: феномен трансцендентализации утопии, которая и обращает утопию в неопределенное утопическое (измерение), — главное, что отмечает Марен. Трансцендентальное имплицитно — оно не может быть дано в опыте.

Как сугубо трансценденталистская фигура, «чистая схема» разделяет главную проблему трансцендентализма вообще (за редкими исключениями типа проекта К. Малабу¹⁶) — пренебрежение историей трансцендентализируемых фигур, археологией не-данного; и, следовательно, возможностью изменения, противоречащей самому мареновскому духу, в связи с запросом на *детрансцендентализацию* утопии, которую ошибочно именуют необходимостью ее «возвращения». И тем не менее мареновское описание события трансцендентализации утопии, описание события у-топики — великое событие в истории понятия, поскольку открывает структуру нередуцируемости утопии как таковой несмотря на масштаб отказа от нее. Модерн впервые показывает, что существует множество альтернативных линий, уходящих в будущее и расходящихся в настоящем, сходящихся, как ни странно, в прошлом; но главное — разных троп. Именно модерн — уже, литературный модернизм — впервые в истории перформирует понятие возможности, неразрывно связанное с утопией и ее родовой диалектикой возможного и невозможного. Так, первое, что бросается в глаза у Пруста, куда менее очевидного примера для «пустой зоны языка как утопии», — это возможность, темпоральное ее рассеивание или даже рассеяние, или, скорее, реакционная изнанка истории возможности, которая, как известно, впервые после уникального случая Кузанца выходит на авансцену только в начале XX века, вновь обращая нас к предмету споров (пост)-метафизических философов с Марксом о его «метафизике времени» и к той линии мышления об утопии, которую гнут главные мастера марксистской темпорализации, Деррида и Негри¹⁷: утопия есть тождество, удвоение *no/where* и

15 Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Logos-altera; EcceHomo, 2006.

16 См., например: Малабу К. Можем ли мы отказаться от трансцендентального? // Философский журнал. 2018. Т. 11. № 1. С. 99–110; Malabou C. The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic. New York; London: Routledge, 2005.

17 Негри А. Учреждающая власть: трактат об альтернативах Нового времени. СПб.: Владимир Даль, 2024.

now/here (в противоположность иной авторитетной, но куда менее заметной линии: Марена, который схватывает утопическое как квазиидеальную, почти априорную схему воображения-вообще).

Почему реакционная? Пруст обращен к прошлому — к упущенной, упускаемой возможности — и бесконечно печалится о каждой встречающейся вещи в сознании любого времени — вещи, которая перемежается, рассеивается в танце с любым другим временем, заведомо нелинейным, потому что пестрит калейдоскопом возможностей всякой вещи, а возможность требует времени (сюжет с мадленкой здесь по-прежнему является легким, но структурным примером¹⁸). Но как определить эту возможность? что она есть такое? Вероятно, ее можно определить как перцептивное/когнитивное схватывание (*con-cipio*) мерцания вещи (*res, realis, realitas*), мерцание, известное в опыте всякому бедняку, проживающему свой день под эгидой грезы (и тезы) о возможности изменения своего угнетенного положения. И это в конечном итоге утопический дискурс 1970-х годов пытается показать в качестве собственно утопического. В то же самое время мерцание становится как бы абсолютным мерцанием самим по себе, без всяких рамок, которые обозначает Блох¹⁹, обращаясь в эту «пустую зону языка как Утопии», впервые заявившей о себе в модернизме. Уже у Пруста, в его перцептивном схватывании мерцания возможностей вещей, становится очевидным, насколько эти возможности бессильны, бессмысленны и даже вредны. Перед нами «темная» история возможности, которая диалектически оказывается вовсе не возможностью, а не-возможностью чего бы то ни было, кроме самой по себе удержанной возможности, не способной к выводу ни в какое действие, обращенной скорее в прошлое, чем в будущее, поскольку мерцание мерцает в данном, затягивая зрачок в бесконечное, смутное припоминание. Это новое, постметафизическое *a priori* и питает утопический дискурс, вытесняющий т.н. агентные функции утопического мышления и собственно утопию как метафизическую идею самотождественного времени (будущего блага, справедливости), избавившись заодно и от мысли о лучшей реализованной возможности, которая должна быть «снятой». Самое важное здесь то, что само по

18 Пруст М. По направлению к Свану. М.: Художественная литература, 1973.

19 Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаlikовой. М.: Прогресс, 1991. С. 49–78. Так даже подсознательному (бессознательному по Фрейду) — тому, что лишь вытеснено или изобретено как прошлое, — Блох противопоставляет очередное *еще-не*: то, что мнится, некую дневную грезу, обособленную от эскапизма, — *еще-не-осознаваемое*, «мерцание грез», способное быть структурой «объективно возможного» — *anticipatio* событий, обладающих предварительными условиями, и «реально возможного» — *anticipatio* событий, которые опираются на принципиальную незавершенность мира, подлинное мерцание, «мерцание снов наяву» (*traumdeutung*): «Даже разбитая надежда продолжает мучительно обманывать — призрак, потерявший дорогу обратно на кладбище, хранящий верность развенчанным образам. Надежда не проходит сама по себе, а лишь уступает место своим собственным новым образам» (там же). Блох, таким образом, описывает структурное место, предназначенное надежде (предназначенное, на самом деле, утопии), — надежда сравнивается с призраком, т.е. надежда хранит верность сама себе, несмотря на призрачные блуждания и связь со смертью; где имеет место смещение ее образов, но не объекта; этот объект — своего рода родина, которую только предстоит обрести и которая *a priori* замещает собой «родину», замещает собой прустовское выдуманное Комбре, замещает как то, куда — по обыкновению — возвращаются. Это свидетельствует о «Дуге Материя-Утопия»: пронизанности обеих друг другом и взаимообусловленным и взаимообуславливающим движении к будущему.

себе это мерцание сомнабулически становится самоцельным; и оно же становится основным моментом литературных практик, задействующих эти сложные остатки утопии в обобщенном «постмодерне», где мерцание обнаруживает себя не только без нарратива, но без телеологии, поскольку та оказывается рассеяна потоками данных — без всякой трансгрессии, без какой бы то ни было «модернистской» революционности, без задокументированной воли.

В конечном счете та же технологическая ситуация и открывает дорогу паранепротиворечивой логике, логике модальной, в пределе — семантике возможных миров, сблизив две (казалось бы) несовместимые линии мышления: линию математизированной логики и того, что впоследствии будет названо «языковым письмом» (см. следующий раздел). Но этому предшествует диалектика утопии и антиутопии, в рамках которой опустошенное и в то же самое время перенасыщенное понятие утопии вбирает в себя марксистскую перспективу, оказавшуюся переопределенной в истории утопии не как ее «научное развитие», но как абсолютная часть, чтобы затем показать себя, вопреки структурной логике естественного языка, как свое противоположное: антиутопию — итог редукции омофонии блага в имени утопии, сохраняющем в латинской транслитерации одно простое отрицание.

Эта редукция отчасти обуславливает сближение, но не объясняет его целиком: антиутопия отрицает не благое не-место, но некое не-место, итог редукции, по сути, удваивая уже аффективно исполненное базовое отрицание. Раздвоение раздвоенного, выраженное концептуальной открытостью описанного сближения, подвешивается, уступая место теологии концептуально воскрешенных — через обращение к «науке» — квазиблейбницианских миров, что будто бы избавляет от заклęcia тотальности, приписываемого модерну, ибо великий грех, делегируемый последнему, сопряжен с заклчаем тотальности, и критика этого заклęcia подвязывает под критикуемую форму тотальности само революционное желание радикальных преобразований, в котором также обнаруживается теологическое основание, исток которого столь же далек, сколь и произведен. Модернистскими революциями, которые — как в литературе и искусстве, так и в физике и математике — уже в некотором смысле обеспечили дискурсивную невозможность будущих революций, но только ограниченное во времени мерцание и частичную перспективу: и эта необходимость, которая может быть приписана только задним числом, лишь показывает ущерб от притязаний догматического историзма в прогнозе будущего.

Языки утопии, утопии языка

Разрыв, или, скорее, не столь и бросающаяся в глаза трещина, которая тем не менее структурирует различие «степени» дистилляции утопии в начале и конце XX века, пробегает от «пустой зоны» к множеству «пустых зон», тем не менее оставаясь в пределах языковых игр, становящихся куда более эксплицитными, сближаясь местами с теориями письма. В литературу возвращается само слово и его производные, претерпев ускользающее понятийное преобразование, — и возникает идея необходимости утопического, понятого как некое новое пространство языка, изобретаемого — на этот раз — нарочно в качестве самого себя. Тут оказывается задействованным имя утопии, означающее призыв к созданию чего-то, чего никогда не было. Так, Ингеборг Бахман пишет:

...литература не в состоянии сама сказать, что она такое, и дает распознать себя только через произвол, который она тысячью способов в течение тысяч лет вершит над убогим языком, ибо у жизни есть только убогий язык, — и может противопоставить этому языку жизни только язык утопии. И сколько бы она ни старалась быть как можно ближе к своему времени и его убогому языку, нам надо радоваться ее отчаянному стремлению к языку утопическому...²⁰

В той же самой традиции движутся теории и практики Моник Виттиг, создающей не просто некие сюжетные а-топии (ее художественные работы балансируют со всей невозможной точностью на кромке с бессвязной парой утопии/антиутопии), но утопии языка, которые также создавали весь континуум классической культуры, начиная с античной поэзии, вбирая в себя канонические христологии, добираясь к Высокому Средневековью и оставаясь в рамках экспериментальной прозы, опирающейся на возможности лесбианизации языка и одновременно деклассирующей затверделый чужой язык и его желание²¹. Что касается Бахман, то ее оппозиция «убогий язык» / «язык утопии» предельно соответствует тому, что описывает Марен, — утопии как не-месту речи, поскольку эта последняя опирается на структурную взаимосвязь языковых элементов, складывающихся, быть может, в самые инновационные констелляции, но тем не менее схватываемых из данного и не выпадающих из дискурса, который утопия как некое не-место речи способна незримо преследовать, формируя саму *res extensa* языкового возможного по ту сторону языка.

В приведенном фрагменте «Франкфуртских лекций» Бахман утверждает: нет языка, еще не удалось его найти, создать — и в связи с этим возникает эффект нередуцируемого риска, на который обрекается любой практик утопии. Несмотря на то что критику подобных притязаний предлагает уже Д. Харауэй, усматривая в навязчивой идее утопии языка авраамический образ «женщины до падения в письмо»²², само по себе это притязание скорее неустраимо и в то же время больше не размещается в авангарде того, что я рассматриваю как имплицитный — не действующий имя утопии — утопический дискурс, который начинает развиваться тем не менее в то же самое время. Отчасти он развивается через структурное грамматическое отстраивание себя от артикулированных, «прямых» политических высказываний. В этом смысле *language poetry* с ее *дистилляцией* языка некогда была знаковым явлением.

20 Бахман И. Из «Франкфуртских лекций» // Звезда. 2020. № 11 (URL: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/11/iz-frankfurtskih-lekcij.html>). За знакомство с фрагментом благодарю прозаицу и гендерную исследовательницу Аню Кузнецову. В этом же тексте Бахман говорит о литературе как утопии вообще — и утопия, а точнее, уже насыщенная историей ее переизобретенное понятие, вновь возвращается в литературу: не утопия есть особый литературный жанр, но литература — это собственно «утопия»: «Литера заставляет нас понять и то, что ее произведения обладают всеми предпосылками, позволяющими им уклониться от любой договоренности и от любой классификации, претендующей быть окончательной. / Эти предпосылки, содержащиеся в самих произведениях, я хотела бы попытаться назвать “утопическими”. / Если бы эти утопические предпосылки не были заложены в произведениях, литература, при всей нашей к ней симпатии, была бы всего лишь кладбищем» (Там же).

21 См., например: Виттиг М. Вергилий, нет. М.: Kolonna Publications, 2005.

22 Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000 / Под ред. Л.М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: РОССПЭН, 2005. С. 322–377.

Языковое письмо, его поэзия и его проза требуют разлома языка. Этот разлом имеет две стандартные ипостаси: собственно разлом как попытка обратиться к тому, что было до языка, т.е. додискурсивному режиму означивания (и коммуникации), и разлом как попытка создать в самом языке зону-трещину абсолютно нового, невиданного смысла. Рассмотрим текст Лин Хеджиян, лидера американской языковой школы:

Ситуация требует рифмы, студень структуры
Любая волна приносит свой персональный окрас, приторно розовый или
прогорклый бледно-зеленый
Здесь прекращается свершившийся факт
Старая белая женщина в длинной черной юбке замирает у кухонной
раковины, пораженная
вспышкой сознания
Между кадрами размножаются монстры, они все невменяемы
Если кто-то искоса смотрит на красоту и отводит взгляд, горлающие
пространства
становятся женственней
Подобно горам, напоминающим рюкзаки и одеяла, тянущиеся к подбородку
мечтателя
Мы живем в мире, составленном из метаморфоз,
Рядом с тобой среди тусклых бегоний возвышается ноздреватая роза, на
морских гребешках содрогается снег
от прибытия поезда
Какие-то вещи похожи на пластик, они будут жить вечно, даже после того,
как мы перестанем воспевать впечатления
Не сравнить ли ствол яблони с пуповиной или щенячьим хвостом
Невидимый шлет приглашение, проклятое бесконечными сложностями
Теперь атмосфера полностью наполняет сферу
более редкой, чем аномалия, более экономной, чем большая формальность,
пластичной банальностью²³.

«Мир, составленный из метаморфоз», прекращающийся в «свершившийся факт» и т.д., все еще обращается к некоторому философскому ядру утопии, поскольку в стихотворении одновременно свершается логически невозможное, но в то же время абсолютно возможное: текст демонстрирует содержательную «пустоту», предлагая это возможное как мареновский способ организации (уже прозрачный, формальный, внеисторический) — но мыслимого, а не представимого. Возможное, впервые вышедшее на философскую сцену в качестве антагониста конвенциональной мыслимости, у Николая из Кузы, в ответ силлогической логики (логике суждений), имеющей онтологических дисциплинарных двойников, показывает себя как нечто, предшествующее действительности: все, что есть, может быть (в первую очередь — может, а потом — есть) — так указывает Кузанец, переизобретая дуальную метафизическую расстановку членов оппозиции, переворачивая ее²⁴.

23 Хеджиян Л. Шесть солярностей // Всеализм. 2023 (URL: <https://vsealim.ru/lin-hedzhinyan-shest-solyarnostej/>).

24 Кузанский Н. О возможности-бытия. М.: Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1980.

Возможное как ядро утопии терпит диалектическую смену предикатов — кроме того, что само по себе оно является историческим, отсылая то к логике, то к физике, то снова к логике, но уже на других основаниях (и стабильно отсылая к политике, поскольку лишь обладающий властью решает, кто может существовать, а кто — нет). В языковом письме — будь то текст самого Марена (пост/структурное философское письмо) или текст Хеджинян — утопическое вновь возвращается в литературу, но как утопический дискурс. То, что изначально показывало себя через литературу в раннее Новое время и только затем прямо пришло в политику, в ее семантическое поле, замирает, согласно общей логике «постмодерна», в литературе же. Именно замирает: миры, порождаемые играми языка и непредставимости, представляют собой герметические конструкции, мареновские языковые (также в смысле пост-языковых, в трещинах) утопии, которые становились (глагол незавершенного типа) и стали (завершенный глагол) зонами утопии, вновь обретая пространственные характеристики через свое размещение исключительно в письме, тексте, книге, — и которое к тому же не предназначается в основном для чтения вслух или передачи, поскольку верлибр — который, в отличие от силлабо-тоники, все еще считается формой новаторов, пусть и не новаторской формой — лишен и рифмы, и (в идеале) ритма (его, таким образом, нельзя ни заучить, как было со многими стихами в СССР, ни отскандировать).

Фрагменты из «Композиции клетки» той же Хеджинян:

- 1.6. Предложением излучаемы скалы зрачку. <...>
- 67.9 Жизнь после сна... — но и там ожидают прозрения и гениталии. <...>
- 68.9 Кость общительности пуста. <...>
- 78.4 Грамматик, по колено в воде, оставляет ее и себя обнаженными по поясицу. <...>
- 112.11 Дан обнаженный предмет и произрастают азалии. <...>²⁵

Онтологическое противоречие, некогда сформулированное Аристотелем, является изнанкой запрета, наложенного на сущее, и одновременно — его эмпирической границей: не может быть так, пишет он, чтобы «и человек, и стена, и триера» были одним, это — безумие, или, как будет разработано позже в схоластике, химера²⁶. *Language poetry*, бессменные практики которой — категориальные ошибки и корреляционные узлы разнопорядковых, в том числе чисто семантических, феноменов, создает, по сути, химеры, преступая традиционный аристотелев онтологический запрет, но в сфере суждений, парадоксально показывая (*sic!*) тупик образности и конструируя таким образом особый поэтический режим непредставимости, так или иначе завязанный на онтологическом противоречии, осознанном в качестве истины утопии языка, которая обязуется уничтожить язык как репрессивную структуру средствами самого языка. И здесь же поэзия парадоксальным образом «подшивается» под философию, заговорив уже на ее языке, ее понятиями, как если бы мы раздробили фрагменты о воображении Канта, мерцающего для субъективного опыта читающего ребенка бесконечными зазорами ускользающих смыслов, — как если бы раздробить этот субъективно заблокированный опыт понимания на поэти-

25 Хеджинян Л. Композиция клетки // Митин журнал. 1991. № 41. С. 115–128 (URL: <https://www.vavilon.ru/metatext/mj41/hejinian.html>).

26 Аристотель. Метафизика. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.

ческие строки, предназначенные для активации ассоциаций. Как весьма ангажировано пишет Адорно: «Когда философия воображает себе, что с помощью заимствований из поэзии она может преодолеть опредмечивающее мышление и всю его историю, <...> и даже надеется, что в слепленной из Парменида и Юнгникеля поэзии говорит само бытие, именно тогда она сближается с пусто-порожним культурным трепом»²⁷. Утопическое здесь окончательно становится операцией языка, в то время как «языковые» методы тривиализируются, как в культуре, согласно ее трагедийному зиммелевскому компоненту, тривиализируется все «новое» — его спайки становятся предсказуемыми²⁸.

В эссе «Практическая утопия языкового письма» поэт Б. Уоттен предлагает идеальный образец употребления слова утопия и его производных в строго позитивном смысле, которого не обнаружить ни в каких других контекстах. Так, в начале Уоттен пытается как-то обозначить границы понятия, поскольку собирается сделать его центральным, обращаясь к концепции «практической утопии», критической теории и Блоху, наконец утверждая, что «утопия — не отверделая навеки мечта, подпирающая неудавшееся государство, какую мы увидели в Ленинграде в 1989 году; она больше похожа на подвальную рюмочную в Союзе композиторов, в которой мы засиживались в бесконечных беседах»²⁹, а затем — сужая само понятие. Языковое письмо оказывается утопичным, поскольку реализует то, чего не было, и протестует против языка (средствами самого языка?), (предположительно) эмансипируя его: «...порождающая способность языка и состоит в выходе за свои материальные границы, что предполагает тем самым бесконечный, нежели конечный, горизонт ожиданий, не связанный ни материальными данными, ни их критическими модификациями, а в этом и состоит утопическая политика языкового письма»³⁰. В пост/структуралистских терминах можно также говорить о рассинхронизации означающего и запаздывающего исторического означаемого утопии и даже о структуре шизофрении³¹ (в тезаурусе Джеймисона), где означающее не способно зафиксировать означаемое как результат абстрагирующей деятельности мышления или, заземляя тезис, где высказывающийся художественный субъект настроен на радикальную деконструкцию, граничащую с деструкцией в хайдеггеровском смысле.

Проблема, вероятно, заключается в том, что утопичным — то есть исследующим границы возможного — языковое письмо является, *покуда* оно реализует то, чего не было. Но есть убеждение, что все уже было, и тем не менее раз за разом производится ставка на знакомые языки. Так, «языковое» письмо, письмо языка и письмо о языке — расщепление репрессивного/обыденного языка средствами самого языка — становится последней известной «формой» утопии, стремящейся разъять логику, понимаемую в качестве структуры законов, которые препятствуют возникновению нового. Это последнее утопичес-

27 Адорно Т. Эссе как форма // Своеволие философии: собрание философских эссе. М.: Издательский дом ЯСК, 2001.

28 Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Избранное: В 2 т. Т. 1: Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 445–474.

29 Уоттен Б. Практическая утопия языкового письма: от книги «Ленинград» до движения Оссиру // Новое литературное обозрение. 2021. № 2 (168). С. 200–217.

30 Там же.

31 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019.

кое, набирающее силу в последней четверти XX века и нарушающее законы логики, базируется на скрытой предпосылке, что существует тотальность, побег из которой заключается в предельной «дистилляции»; работает с идеями остатка, зазора, отклонения и далеко от экономических вопросов; и характерно тем, что именно утопия ставит на кон прежде, чем потерять свои связи в процессе исторического убывания утопии из утопического — практическую возможность, — но в то же самое время это становится единственным способом сохранить утопическое. Что до эксплицитных языков утопии — посредством их деконструктивистской критики те вымещаются за линию все так же, спустя 60 лет, называемой экспериментальной линией профессиональной литературы — *language writing*. И не зря: чаще всего эти языки демонстрируют наивность и любовь к докритической метафизике.

Так или иначе, именно язык на протяжении всего XX века отвечает за «организацию возможного» — возможного в языковых зазорах или, парадоксальным образом, в самом языке (деактуализированная, но неустраняемая стратегия Виттиг, требующая отдельного исследования); но отвечает он в разной степени и в прямой зависимости от того, что можно свести к двум лиотаровским «великим нарративам»: фиаско нарратива об освобождении — рука об руку с критикой тотальности, а значит, с фиаско нарратива о спекулятивном знании — и формирует особый утопический дискурс, в который преобразовывается утопия; дискурс, оставшийся нам в наследство.

Вероятно, сегодня мы должны говорить не о «конце утопии», но «конце утопического дискурса», понятого, если частично скорректировать выражение Джеймисона, в качестве «утопий как пустых зон языка» и, конечно, как попытки хотя бы помыслить непредставимое и/или, собственно говоря, само онтологическое противоречие как нарушение законов логики, пришедшее на смену нарушению законов природы в содержательной исторической динамике утопии. Именно об этом конце говорит усталость, в которую преобразовывается описанный Бахман изначальный риск, поистине утопический импульс: обнаружить не-место свободы, даже если речь идет о невозможном, т.е. опирающемся на ничто, языке — в утопическом дискурсе терпит сокрушительный удар, — именно поэтому вообще стоит рассматривать движение от утопии к утопическому дискурсу.

Не менее важно отметить, что усталость сопровождает наследуемое, но не производимое. Именно поэтому эффекты некогда открытого *language writing*, как и пост/структуралистские оптики, скорее удручают, напоминая об агонии не случившейся — и, вероятно, и не задумываемой — революции, заимствующей у модерна идею необходимой (но только идею) новизны, у постмодерна — фрагментарность, информационные технэ (в аристотелевском смысле) и идею *postmodernity* как состояния, не предполагающего не просто новизну уже изобретенных форм, но новизну вообще; создавая, таким образом, еще одно «неснимаемое» противоречие: «нового».

Процесс, описываемый здесь, — экстенсивное расширение и интенсивное углубление идеи о новых логиках — во всевозможных смыслах — и нарушении ее законов — берет свое начало в модернизме (позднейшем модерне), поскольку именно тот выводит на свет тотальность, рефлексия о которой была недоступна в XIX веке. И он, таким образом, запускается параллельно возникновению техноутопий и научных утопий вообще, но переворачивает отношение — через

авангардизацию в интеллектуалистских дискурсах — к 1970-м годам, порождая идею утопии в естественном языке. Это можно проследить в рефлексии позднемодернистской литературы о самой себе и — через ряды смежных понятий — внутри самой позднемодернистской литературы. Парадоксальным образом эта идея «утопии в естественном языке» реализует ту же внутреннюю логику истории понятия утопии, что и в конечном счете идея о нарушении законов логики (спекулятивная и — средствами математической логики, как то: через логику возможных миров, паранепротиворечивую логику и т.д.), продолжая детерминировать — со всеми последствиями — наше представление о будущем, постепенно, но последовательно заменяя собой представление об утопии как нарушающей законы природы, — утопии, в которую уже не просто никто не верит, но тавтологической невозможной утопии, завязанной на радикальной непредставимости. В это же время магистральное развитие *critical studies* в рамках фундаментальных дисциплин гуманитаристики приводит мышление о будущем к неутешительным выводам, поддерживая цинический, по выражению Слотердайка, разум, или же, согласно Дж. Батлер и Ж. Рансьеру соответственно, дискурс «постосвобожденческих» времен или посткритической критики, что имеет важнейшее значение³². Рефлексия об утопии не просто «вымещает» телеологию утопии, в конце концов порождая *утопическое* как дискурсивный режим (где в лучшем случае понятие утопии работает как регулятив), но начинает оспаривать самое себя на фоне запроса на реализм даже в этом постструктуралистском варианте — как безфункциональное воображаемое. Несмотря на это, у *дистиллированной утопии*, ее чистого пустого понятия, вынужденного являть себя таким образом, есть, конечно, и позитивные коннотации: более того, при анализе современной культуры, преимущественно художественных и поэтических практик, позитивно подключенное понятие утопии встречается хотя и как абсолютно пустое, но интуитивно заданное и интуитивно понятое. В совершенно, впрочем, «постмодерновом» духе: не как пустое понятие без объекта, как если бы мы говорили об *ens rationis*, но именно как рассинхронизированное и выхолощенное. Это свидетельствует о том, что утопическое «измерение», что бы мы под ним ни подразумевали, оказывается нередуцируемым.

Объяснение этим смещениям, как и описано выше, я нахожу в отрыве утопического режима от утопии, который происходит, по моему предположению, в тот же момент, когда с рабочим движением закатывается модерн. Марксизм не просто становится гомогенной частью истории утопии, смещаясь за демаркационную линию, им же самим в истории социализма проведенную, но понятие утопии, уже вмещающее в себя марксизм, здесь же признается метафизическим (несмотря на Марксов «запрет» на изображение, которое выдает либо глупца, либо шельму): вопрос возникает на уровне самого допущения возможности быть свободными (от экономического насилия), что и ведет к счастью (постулирование которого Марксом, мягко говоря, преувеличено). Сегодня же вопрос поставлен и к самой возможности, взятой в самом ее чистом, «теоретическом» смысле.

Поэтому я бы сказала, отталкиваясь от тезиса Маркузе, озвученного им в 1970-м году, что утопией «в строгом смысле» является то, что разрушает за-

32 Слотердаик П. Критика цинического разума. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021; Батлер Д. Психика власти. СПб: Алетейя, 2002; Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. М.: Красная ласточка. 2013.

коны логики³³. Иначе говоря, утопия есть особый утопический дискурс, и этот утопический дискурс в строгом смысле указывает на разрушение законов логики и деструкцию семантики, предлагая идеальные образцы изъятия утопии из утопического вообще, которое конструируется, разумеется, задним числом, поскольку утопия начинается в литературе и, в конце концов обращенная в дискурсию, регистрируется в качестве последнего в литературе же; эта «регистрация» как становление-пустым, но впаянным не/местом, структурирующим пустую — как содержание противоречия: ничто — речь, субстанционализируется в коллапсе грамматики и логики, включая диалектику, поскольку это противоречие ничто вполне может быть обосновано, но деструкция (сам факт этой деструкции) является определяющей — от паранепротиворечивых логик и категориальных «ошибок» в качестве литературной технологии до «других логик», под которыми разумеются дискурсы субалтернов. «Конец» утопического дискурса 1970-х годов, таким образом, означает не что иное, как конец конца; или — обращаясь к языку фукольдианской археологии — вступление в тот сложный промежуточный период, когда историческое *a priori*, сделавшее агонию бесконечного настоящего возможной, обнаруживается лишь как историческое *a priori*.

Библиография / References

- Агамалова Л. От науки к утопии: Маркузе и критический утопианизм // Социология власти. 2024. Т. 36. № 4. С. 64–102.
(Agamalova L. Ot nauki k utopii: Markuze i kriticheskiy utopianizm // Sotsiologiya vlasti. 2024. Vol. 36. № 4. P. 64–102.)
- Адорно Т.В., Блох Э. Чего-то не хватает. О противоречиях утопического томления // Художественный журнал. 2012. № 85 (URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/12/article/164>).
- (Adorno T.W., Bloch E. Etwas fehlt... Über die Widersprüche der utopischen Sehnsucht // Khudozhestvennyy zhurnal. 2012. № 85 (URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/12/article/164>) — In Russ.)
- Адорно Т.В. Эссе как форма // Своеволие философии: собрание философских эссе / Сост. и отв. ред. О.П. Зубец. М.: Издательский дом ЯСК, 2019. С. 65–85.
- (Adorno T.W. Der Essay als Form // Svoevolie filosofii: sobranie filosofskikh esse / Ed. by O.P. Zubets. Moscow, 2019. P. 65–85 — In Russ.)
- Адорно Т.В. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001.
- (Adorno T.W. Ästhetische Theorie. Moscow, 2001 — In Russ.)
- Аристотель. Метафизика // Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 63–367.
- (Aristotle. Metaphysics // Sochineniya: In 4 Vols. Vol. 1. Moscow, 1976. P. 63–367 — In Russ.)
- Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.
- (Butler J. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Kharkiv; St. Petersburg, 2002 — In Russ.)
- Бахман И. Из «Франкфуртских лекций» // Звезда. 2020. № 11 (URL: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/11/iz-frankfurtskih-lekcij.html>).
- (Bachmann I. Aus den Frankfurter Vorlesungen // Zvezda. 2020. № 11 (URL: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/11/iz-frankfurtskih-lekcij.html>) — In Russ.)
- Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. С. 49–78.
- (Bloch E. Das Prinzip Hoffnung // Utopiya i utopicheskoe myshlenie / Ed. by V.A. Chalikova. Moscow, 1991. P. 49–78 — In Russ.)

33 Маркузе Г. Конец утопии // Логос. 2004. № 6 (45). С. 18–23.

- Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1997.
- (Bloch E. Tübingen Einleitung in die Philosophie. Yekaterinburg, 1997 — In Russ.)
- Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Logos-altera; Ecce Homo, 2006.
- (Derrida J. Spectres de Marx. Moscow, 2006 — In Russ.)
- Джеймисон Ф. Модернизм как идеология // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (98) (URL: <https://nlobooks.ru/article/11460/>).
- (Jameson F. Modernism as Ideology // Neprikosnovennyy zapas. 2014. № 6 (98) (URL: <https://nlobooks.ru/article/11460/>) — In Russ.)
- Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019.
- (Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Moscow, 2019 — In Russ.)
- Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Избранное: В 2 т. Т. 1: Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 445–474.
- (Simmel G. Der Begriff und die Tragödie der Kultur // Izbrannoe: In 2 Vols. Vol. 1: Filosofiya kul'tury. Moscow, 1996. P. 445–474 — In Russ.)
- Кузанский Н. О возможности-бытии // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1980. С. 135–182.
- (Cusanus N. De possest // Sochineniya: In 2 Vols. Vol. 2. Moscow, 1980. P. 135–182 — In Russ.)
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.
- (Lyotard J.-F. La Condition postmoderne. St. Petersburg, 1998 — In Russ.)
- Малабу К. Можем ли мы отказаться от трансцендентального? // Философский журнал. 2018. Т. 11. № 1. С. 99–110.
- (Malabou C. Can We Relinquish the Transcendental? // Filosofskiy zhurnal. 2018. Vol. 11. № 1. P. 99–110 — In Russ.)
- Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. С. 113–169.
- (Mannheim K. Ideologie und Utopie // Utopiya i utopicheskoye myshlenie / Ed. by V.A. Chalikova. Moscow, 1991. P. 113–169 — In Russ.)
- Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. М.: Госполитиздат, 1957.
- (Marx K. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Moscow, 1957 — In Russ.)
- Маркузе Г. Конец утопии // Логос. 2004. № 6 (45). С. 18–23.
- (Marcuse H. Das Ende der Utopie // Logos. 2004. № 6 (45). P. 18–23 — In Russ.)
- Негри А. Учреждающая власть: трактат об альтернативах Нового времени. СПб.: Владимир Даль, 2024.
- (Negri A. Il potere costituente: saggio sulle alternative del moderno. St. Petersburg, 2024 — In Russ.)
- Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. М.: Красная ласточка, 2013.
- (Rancière J. Le Spectateur émancipé. Moscow, 2013 — In Russ.)
- Слотердайк П. Критика цинического разума. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.
- (Sloterdijk P. Kritik der zynischen Vernunft. St. Petersburg, 2021 — In Russ.)
- Уоттен Б. Практическая утопия языкового письма: от книги «Ленинград» до движения Оссуре // Новое литературное обозрение. 2021. № 2 (168). С. 200–217.
- (Watten B. Language Writing's Concrete Utopia: From Leningrad to Occupy // Novoe literaturnoe obozrenie. 2021. № 2 (168). P. 200–217 — In Russ.)
- Фишер М. Капиталистический реализм. Альтернативы нет? М.: Ультракультура 2.0, 2010.
- (Fisher M. Capitalist Realism: Is There No Alternative? Moscow, 2010 — In Russ.)
- Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000 / Под ред. Л.М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: РОССПЭН, 2005. С. 322–377.
- (Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century // Gendernaya teoriya i iskusstvo. Antologiya: 1970–2000 / Ed. by L.M. Bredikhina and K. Deepwell. Moscow: ROSSPEN, 2005. P. 322–377 — In Russ.)
- Хеджиян Л. Композиция клетки // Митин журнал. 1991. № 41. С. 115–128 (URL: <https://www.vavilon.ru/metatext/mj41/hejinian.html>).
- (Hejinian L. The Composition of the Cell // Mitin zhurnal. 1991. № 41. P. 115–128 (URL: <https://www.vavilon.ru/metatext/mj41/hejinian.html>) — In Russ.)
- Хеджиян Л. Шесть солярностей // Всеализм. 2023 (URL: <https://vsealizm.ru/lin-hedzhinyan-shest-solyarnostej/>).
- (Hejinian L. Six Solarities // Vsealizm. 2023 (URL: <https://vsealizm.ru/lin-hedzhinyan-shest-solyarnostej/>) — In Russ.)
- Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М.: Молодая гвардия, 1937.
- (Engels F. Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Moscow, 1937 — In Russ.)
- Марин Л. Утопии: jeux d'espaces. Paris: Éditions de Minuit, 1973.
- Malabou C. The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic. New York; London: Routledge, 2005.